

Валерий  
Юрич

АЛХИМИК  
ДОЛЖЕН  
УМЕРЕТЬ!

2

Алхимик должен...

Валерий Юрич

**Алхимик должен умереть! Том 2**

«Автор»

2026

## **Юрич В.**

Алхимик должен умереть! Том 2 / В. Юрич — «Автор»,  
2026 — (Алхимик должен...)

Я живу в мире, где магия возведена в ранг науки. В мире, где волшебный эфир - это валюта, подверженная инфляции, а государство - безжалостный регулятор. В мире, где магический дар принадлежит аристократам, а право на хорошую жизнь передается по наследству. Я пытался это исправить. Честно. Придворный алхимик, изобретатель, лейб-медик - мое положение давало мне власть. Я не упивался ей, а использовал, как инструмент. И вот, когда до цели оставался всего один шаг... терпение Императора лопнуло. Итог закономерен. Я умер. Точнее, должен был умереть. Но Император просчитался. Он убил только тело. Душу закинуло в изувеченного приютского сироту по кличке Лис. Но и в этой ситуации есть один несомненный плюс: ниже падать уже некуда. Теперь у меня только один путь - наверх. Лечил Императора - буду лечить сирот. Подорожник, полынь, мята, лопух всегда под рукой. Начну с малого, а дальше как пойдет. Что ж, Ваше Императорское Величество. Вы убили меня один раз. Второго шанса у вас не будет.

© Юрич В., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Глава 1	5
Глава 2	9
Глава 3	14
Глава 4	19
Глава 5	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# Валерий Юрич

## Алхимик должен умереть! Том 2

### Глава 1

Десять дней — это много.

Десять дней — это целая вечность, если ты четырнадцатилетний сирота на дне Никодимовской ямы. И одновременно — один удар сердца, если ты алхимик, строящий империю из грязи, золы и упрямства.

Прошло ровно десять дней с тех пор, как я утопил человека в канаве.

Я старался не думать об этом. Получалось не всегда. Иногда, особенно перед рассветом, когда общая спальня храпела и стонала вокруг меня, я чувствовал, как его пальцы, скользкие и слабеющие, цепляются за мои запястья. Потом я вспоминал, зачем это было сделано, и засыпал снова. Константин Радомирский, великий изобретатель Империи, тоже не всегда спал спокойно. Но он умел отделять необходимое от приятного. Лис учился делать то же самое.

Впрочем, у меня теперь хватало забот и без моих ночных кошмаров.

Мои пациенты шли на поправку — все четверо, что само по себе было маленьким чудом в месте, где дети мерли от обычной простуды.

Мышь дышала ровнее с каждым днем. Я по-прежнему слышал в ее легких тихий свист, который никуда не денется, если не давить на него без перерыва. Но влажный, продуктивный кашель давно пришел на смену сухим, раздражающим приступам, от которых еще дней десять назад Мышь скручивалась на полу. Щеки у нее слегка порозовели. Совсем чуть-чуть — но для человека, привыкшего читать тело как книгу, это было красноречивее любого трактата.

Тим перестал хвататься за горло. Хроническая ангина, постоянно его терзавшая, наконец отпустила — толченый уголь, скорлупа и ржавый гвоздь, а также полоскание сделали свою неказистую, но честную работу. Тим даже начал петь. Тихонько, себе под нос, какую-то портовую дрянь, от которой приличная барышня упала бы в обморок. Однако я счел это вполне хорошим знаком.

Кухарка Фрося, моя стратегическая союзница по линии снабжения — начала двигаться заметно бодрее. Упражнения для спины, которые я ей показал, она выполняла с фанатичной дисциплиной, какую я не видел даже у армейских. Иногда я даже заставлял ее на кухне за этим делом. При этом мазь и компрессы, которые я обновлял ей раз в три дня, продолжали устранять самые острые приступы, которых становилось в последнее время все меньше и меньше. В обмен Фрося закрывала глаза на наши вечерние вылазки к кухне и щедро делилась тем, что официально считалось отходами, а на деле было вполне пригодным сырьем.

И наконец — Кирпич.

Вчера я снял у него швы.

Точнее — снял то, что имело наглость называться швами: грубые стежки сапожной иглой, наложенные в полевых условиях, пока Кирпич скрипел зубами так, что я всерьез опасался за его челюсти. Рана от пули — рваная, гнойная, безнадежная по всем меркам приютской медицины — затянулась. Не идеально. Рубец останется толстый, бугристый, некрасивый. Но чистый. Без красноты, без воспаления, без того сладковатого запаха гниения, который я учуял в первый день, и который означал лишь одно: еще сутки — и рука начнет отмирать, а за ней и сам Кирпич.

Он сидел на перевернутом ведре в Сердце, пока я аккуратно вытягивал нитку за ниткой, промывая каждый канал травяным отваром и промокая вокруг смоченной в спирте тряпицей. Молчал. Осторожно двигал плечом, пробуя, как ходят мышцы под заживающей кожей.

— Добро, — сказал он, когда процедура была окончена.

Одно слово. Ни «спасибо», ни улыбки, ни рукопожатия. Просто — «добро». Словно принял работу у подрядчика.

Я кивнул. С Кирпичом иначе и не бывало. Его благодарность выражалась не в словах, а в том, что вчера вечером он молча положил рядом с моим импровизированным новым верстаком холщовый мешочек. В мешочке лежали три глиняных горшка — целых, без трещин, — моток чистой льняной тряпицы и сверток с сушеными корнями валерианы. Все это стоило на рынке не меньше двадцати копеек. Для нас это было целое состояние.

Кирпич не говорил «спасибо». Кирпич расплачивался делами.

Впрочем, он был не единственным, кто платил.

За эту неделю наше мыло — серое, грубоватое, пахнущее полынью и мятой — начало приносить настоящие деньги. Не обычные «услуги» и «одолжения», к которым я привык в первые дни, а медные копейки. Небольшие, потемневшие от чьих-то потных ладоней, с полустертым профилем двуглавого орла — но настоящие. Законное платежное средство Российской Империи.

Кирпич выстроил канал сбыта так, как я и предполагал: через портовых грузчиков и мастеровых из Бочарной слободы. Людей, которые целыми днями ворочали тюки и бочки, покрываясь коркой грязи и пота, и кормили на себе столько вшей, что хватило бы на небольшую армию. Для них наше антипаразитное мыло с полынью и дегтем было не роскошью, а необходимостью. Первая пробная партия ушла за три дня. Вторая — за два. К концу недели у нас были заказы еще на тридцать шайб вперед, и Кирпич начал ворчать, что я варю слишком медленно.

Однако я варил настолько быстро, насколько позволяли ресурсы. И ресурсы, надо отдать должное всей моей команде, поступали все оперативнее.

Мышь наладила бесперебойный сбор трав. Она привлекла к делу двух мелких, Сеньку и Груню — смышленных и инициативных детей из младшей группы, которые поначалу за половину шайбы мыла и право постирать свои рубахи готовы были прочесывать пустыри за приютом хоть до темноты.

Однако потом выяснилось, что не все так просто. Оказывается, эти пройдохи начали барыжить нашим мылом в своем бараке, сформировав первую прослойку приютских перепродажников. Узнав об этом, я не стал препятствовать формированию новой торговой системы. Наоборот, даже поощрил, лично побеседовав с этими «спекулянтами». После этого они стали собирать ресурсы вдвое усерднее, подрядив под это дело еще и своих подопечных. Мыльнянка, полынь, мята, ромашка и остальное — все это теперь поступало регулярно и в достаточных объемах.

Тим держал запасы золы и угля на уровне, который я считал приемлемым, а он — безумно избыточным. Кроме того, он оказался неожиданно ловким в вопросах внутренней разведки: его маленькая сеть из нескольких воспитанников среднего возраста исправно сообщала о перемещениях Семена, настроениях в бараках и любых слухах, которые могли нас касаться.

Костыль — мой внешний агент — регулярно выбирался за пределы приюта и возвращался с добычей. Именно он приволок на этой неделе льняную тряпицу, стеклянную бутылку с узким горлом и слух о том, что у старьевщика Маркеля появились медные трубки от разобранного самогонного аппарата. Медные трубки. У меня от одной мысли о них зачесались руки.

Но это было далеко не все. Еще у нас появилась крыша.

Нет, серьезно. У Сердца теперь была настоящая крыша.

Это Костыль придумал. Точнее, это я обронил за работой, что неплохо бы защитить лабораторию от дождя, а Костыль, который воспринимал любое мое «неплохо бы» как прямой приказ, взял и сделал. Притащил из-за забора четыре кривых, но прочных жерди — остатки от старого штакетника, выброшенного с одного из близлежащих дворов. Приладил их к стене

амбара и забору, создав подобие стропил. Тим помог ему натянуть поверх два слоя просмоленной парусины, которую Мышь выпросила у Фроси под каким-то надуманным предлогом. Сверху Костыль набросал еловых лап — их он надрал в рощице у пустыря — и обмазал стыки смесью глины с соломой, которую сам же замешал в старом корыте.

Конструкция выглядела, мягко говоря, убого. Кривая, просевшая на один бок, с торчащими во все стороны хвойными лохмами — больше похожая на гнездо сумасшедшей вороны, чем на инженерное сооружение. Но она держала воду. Позавчерашний ливень, затянувший все небо чугунной пеленой, не промочил ни один горшок, ни одну связку сохнувших трав, ни мешочек с драгоценными медяками, спрятанный в нише за кирпичом.

Я сидел тогда под этой нелепой крышей, слушал, как дождь барабанит по парусине, и думал: вот оно. Вот с чего начинаются империи. Не с дворцов и реакторов. С крыши над головой, горстки монет и людей, которые верят тебе настолько, чтобы из кожи вон лезть ради твоих идей.

Утро того дня — а это был вторник, если мне не изменяет память, — началось как обычно. Общий подъем, молитва под гнусавый речитатив приютского дьячка, баланда, которую Фрося по моей просьбе делала чуть погуще для нашего стола. Потом — рабочая рутина. Мышь ушла на кухню помогать с посудой, Тим — на двор, таскать дрова, Костыль — скреб полы в коридоре, старательно хромая чуть сильнее, чем требовалось.

Я отработал положенные часы в канцелярии, переписывая очередную партию писем для благотворителей. Писарь, как обычно, дремал за своим столом, и я мог спокойно посматривать на стену с иконами, за которой тянулся вспомогательный контур приютской эфирной сети. Мой паразитный виток работал стабильно. Капля за каплей, неощутимо для основной системы, энергия утекала в мой карманный резерв. Я подзарядил еще один конденсатор — новый, улучшенный, собранный в дополнение к тому, что я разрядил в затылок чистильщику. Проверил кольца-ключи: все четыре работали штатно.

Около часа пополудни я закончил и благополучно был отпущен писарем на обеденный перерыв. Через четверть часа вся наша компания была уже в Сердце.

Мышь пришла первой — как всегда, бесшумная, будто кошка. Юркнула под навес, привычно коснулась кольца на пальце, поблагодарив, что Тихий Колокол ее пропустил, и села на свое обычное место — перевернутое полено у стены. За нее я был спокоен. Ее худое лицо, заостренное голодом и болезнью, в последние дни обрело какое-то новое выражение. Не просто настороженность — сосредоточенность. Мышь больше не выживала. Мышь работала. Мышь зарабатывала. И постепенно оживала. Добавки к нашему скудному рациону, которыми платили за мыло некоторые клиенты Кирпича, делали свое дело.

Тим ввалился следом, шумный и неуклюжий, как теленок. Рыжий, веснушчатый, с вечно сбитыми костяшками — он ухитрялся задеть каждый горшок и каждую жердь на своем пути. Но при этом — ни одного лишнего слова при посторонних, ни одной ошибки в сборе материалов. Верный и надежный, как ломовая лошадь. Тим сел на корточки, прислонившись спиной к теплomu боку амбара.

Костыль подтянулся последним, волоча свою поврежденную ногу и осторожно поглядывая через плечо — привычка, от которой я не хотел его отучать. Лишняя бдительность в нашем положении дорогого стоила. Он остановился на своем привычном месте: у входа, привалившись к стойке навеса.

Я оглядел свою команду. Три пары глаз — серые, голубые, карие — смотрели на меня выжидающе. Они уже привыкли: если Лис собирает всех перед обедом, значит, будет что-то новое. И это «новое» обычно означает работу, риск и — если повезет — шаг вперед.

— Мыло идет хорошо, — начал я, присаживаясь на край верстака. — Кирпич говорит, что спрос растет. Это правда. Через неделю-две мы выйдем на стабильные тридцать-сорок шайб в декаду, и на этом потолок. Больше — не хватит ни шелока, ни рук.

Тим шевельнулся.

— Так это ж хорошо? Тридцать шайб — это...

— Это хорошо, — перебил его я. — Но мало.

Мышь чуть наклонила голову. Она уже понимала, куда я веду. Мышь вообще соображала быстрее всех — быстрее, чем могло кому-либо показаться.

— Мыло — это база. Наш хлеб. Но любой торговец на Апраксином дворе скажет тебе: на одном товаре далеко не уедешь. Нужен, как минимум, еще один. Такой, которого ни у кого больше нет. Такой, за который люди будут платить не копейку, а две. Или три.

Я выдержал паузу. Не столько для драматического эффекта, сколько для привлечения максимального внимания. Константин Радомирский в прошлой жизни читал лекции перед залами, набитыми академиками и чиновниками. Он знал цену хорошей паузе.

— Я собираюсь делать пилюли.

Тишина. Костыль переглянулся с Тимом. Мышь не шевельнулась.

— Какие пилюли? — осторожно спросил Тим. — Вроде тех штук, что аптекари продают?

За полтинник серебром?

— Вроде. Только проще, дешевле и полезнее, особенно для тех, кто живет в приюте. Я назову их Крепкий сон.

— Крепкий сон, — повторила Мышь, словно пробуя слова на вкус. — От бессонницы?

— От бессонницы. От страха. От боли, которая не дает уснуть. От рези после побоев.

От ночных кошмаров.

Я специально перечислял то, что каждый из них испытал на собственной шкуре. Мышь, которая раньше кашляла ночами напролет. Тим, которого Семен лупил палкой по пяткам за малейшую провинность. Костыль, который просыпался каждый час от ломоты в ноге.

— Подумайте, — продолжил я. — Сколько детей в нашем приюте не спят ночами?

— Половина, — тихо ответила Мышь.

— Больше, — поправил я. — Две трети. А из тех, кто спит, — половина спит так, что лучше бы вообще не спали. Скрипят зубами, плачут, вскрикивают. Утром встают разбитые, с больной головой. Семен за это бьет, от битья спится еще хуже, а от следующего плохого сна — новые побои. Замкнутый круг.

Тим хмуро кивнул. Он не понаслышке знал этот круг. Семен любил до него докапываться за недостаточно быстрое пробуждение и вялость на утренних работах.

— А теперь представьте: маленький шарик, размером с горошину. Положил на язык, запил водой. Через полчаса — глаза слипаются, беспокойство уходит, внутри становится тепло и спокойно. Засыпаешь легко. Спишь до утра. Просыпаешься — и голова ясная, и руки не трясутся, и силы появляются. Никакого колдовства. Никакой магии. Только травы, мед и мука.

## Глава 2

— И сколько это будет стоить? — спросил Костыль. Он всегда спрашивал про деньги первым. За это я его и уважал.

— Для наших — нисколько. Для приюта — бартер: услуги, еда, информация. А вот для города... Давайте прикинем.

Я достал из небольшого хранилища у амбара холщовый узелок и развернул его на верстаке. Внутри лежали аккуратно разложенные пучки трав и маленький глиняный горшочек, закрытый тряпицей.

— Корень валерианы. Пустырник. Шишки хмеля. Ромашка. Мята. Липовый цвет. Душица. Мед. Мука.

Я касался каждого ингредиента, называя имя. Словно представлял дорогих гостей на приеме.

— Все в сборе. Мышь собирала травы последние четыре дня. Мука — от Фроси, в счет будущей мази. Мед вчера принес Кирпич. Все готово.

— А в городе-то кому это надо? — не унимался Костыль. — Там аптеки есть. Лекари. Зачем им наши горошины?

А вот это хороший вопрос. Правильный.

— Потому что аптека — это для тех, у кого есть серебро, — ответил я. — Маленький пузырек валериановых капель у Циммермана на Литейном стоит пятьдесят копеек серебром. Пятьдесят! А хватает их от силы на неделю, ну, может, дней на десять, если сильно экономить. За это грузчик в порту горбатится три дня. А сон ему нужен каждую ночь. Жене его — тоже. И ребенку, у которого режутся зубы, и который, не смолкая, орет до рассвета.

Я обвел их взглядом.

— Наша горошина будет стоить полкопейки медью. Пол-ко-пей-ки. Десять горошин — пять копеек. Этого хватит на декаду спокойного сна. Ни один аптекарь в городе не предложит такой цены. Ни один. Да еще за такой состав!

Тим присвистнул.

— Это ж мы... это ж у нас отбоя не будет.

— Именно, — кивнул я. — Но это еще не все. Пилули будут двух видов.

Я разделил пучки трав на две группы, распределив их по верстаку.

— Первый — детский, мягкий. Ромашка, мята, липа, чуть-чуть валерианы. Одна горошина — и ребенок засыпает спокойно, без криков, без боли. Но при этом не беспробудно. Если крикнуть — проснется. Если пожар, если Семен напьется и вздумает заявиться посреди ночи — проснется. Это важно. Я не хочу, чтобы кто-то из малых слишком медленно продирает глаза и из-за этого попал под горячую руку надзирателя.

Мышь едва заметно кивнула. Она, как никто, умела читать между строк: в приюте, где ночью может случиться все, что угодно, беспробудный сон — это не отдых, это приговор.

— Второй вид — взрослый, крепкий. Валериана, пустырник, хмель, мята, душица. Тут сила другая. Одна горошина — легкое успокоение, две — глубокий сон на всю ночь. Для грузчиков, для мастеровых, для баб, которые весь день на ногах. Для любого, кто отдал бы последнюю рубаху за одну ночь без боли и бессонницы.

— А различать-то их как? — подала голос Мышь. — Если перепутать, можно и малому дать взрослому...

— Не перепутаем. Детские будут светлые, желтоватые. Пахнут ромашкой и мятой. Приятные. Взрослые — темнее, зеленовато-коричневые, с резким запахом. Даже в темноте по запаху отличишь. И дополнительно я буду добавлять в них крошку угля — мелкие черные вкрапления. С виду точно не перепутаешь.

Костыль потер подбородок.

— А если кто скопирует? Рецепт-то не больно хитрый, травы — вон они, на каждом пустыре растут.

Я усмехнулся. Костыль поднял именно тот вопрос, который задал бы любой купец на рынке.

— Скопировать — можно. Повторить — нет. Потому что дело тут не только в травах, Костыль. Дело в пропорциях. В том, сколько варить, до какой густоты уваривать, когда снять с огня, сколько меда добавить. Чуть больше валерианы — человека стошнит. Чуть меньше — не подействует. Я знаю эти пропорции, лучше, чем кто-либо другой.

Это было правдой. Однако не самой важной ее частью. Самую главную часть — то, что я дополнительно направлял в сырье эфир, структурируя действующие вещества на уровне, недоступном ни одному деревенскому травнику или даже городскому аптекарю, — я, разумеется, не упоминал. Моя команда верила в науку трав. Пусть пока так и остается.

— Значит, так, — подвел я итог. — Вечером собираемся здесь. Будем делать первую партию обоих видов. Мышь — проверь еще раз все травы. Если найдешь брак — убирай. Тим — набери воды побольше. Костыль — подкинь заранее углей в печку, пусть прогреется до ровного жара. Мне нужно тепло, но не пекло. Хорошо?

Три кивка.

— Тогда — на обед. И держим язык за зубами.

Они разошлись — бесшумно, по одному, с интервалом в несколько минут, как я и учил. Сначала Мышь вильнула за угол амбара и исчезла. Потом ушел Тим, нарочито громко шаркая и делая вид, что выбирается из зарослей после справления нужды. Последним — Костыль, неторопливо, с безразличным лицом, постукивая своей палкой.

Я остался один.

Солнце ползло по стене амбара, прогревая парусину и еловые лапы нашей нелепой крыши. Пахло смолой, сухой ромашкой и — слабо, на грани восприятия — валерианой. Легкий, землистый запах, от которого хотелось зевать.

Я разложил перед собой ингредиенты и начал мысленно выстраивать последовательность. Константин Радомирский когда-то конструировал кристаллоэфирные реакторы, способные питать энергией целые кварталы. Сегодня он будет лепить горошины из травяного теста.

И не найдется такой силы на свете, которая заставила бы его остановиться.

\*\*\*

После ужина — жидкой каши с луком, в которой Фрося по моей просьбе «случайно» забыла кусок сала, доставшийся нашему столу, — мы снова собрались в Сердце.

Вечер выдался теплый и безветренный. Под навесом было почти уютно: крыша давала тень, от нашей импровизированной печки тянуло ровным, ленивым жаром. Угли горели именно так, как я и хотел: без пламени, но с глубоким, устойчивым теплом. Костыль хорошо знал свое дело.

Я расставил на верстаке все, что нам предстояло использовать. Два глиняных горшка. Один, побольше, для варки, другой, поменьше, для замеса. Деревянная плочка с широким дном, в которой удобно было толочь. Кружка из обожженной глины — тяжелая, грубая, но с толстыми стенками, которые хорошо держали жар. Тряпица для процеживания. Ложка — деревянная, отполированная до блеска сотнями прикосновений. Горшочек с медом. Мешочек с ржаной мукой.

И травы.

Я разложил их отдельно, двумя кучками, как утром. Слева — мягкие: ромашка, мята, липовый цвет. Справа — тяжелые: корень валерианы, жесткий и узловатый, пучок пустырника, горсть шишек хмеля — мелких, зеленовато-желтых, с тонким горьковатым духом.

— Начнем с детских пилюль, — сказал я. — Они проще. И я покажу на них весь ход работ. Потом уже примемся за взрослые. Мышь, иди сюда. Тим, Костыль, пока просто смотрите и запоминайте. Потом будете помогать.

Мышь подсела к верстаку. Глаза у нее блестели. Сразу было заметно, что ей до жути нравится процесс приготовления любого средства или снадобья. Из всей моей команды она единственная получала от работы не только выгоду, но еще и что-то вроде удовольствия. Любопытство — это отличный двигатель для любой работы. Я знал это лучше, чем кто-либо.

— Первый этап — порошок, — начал объяснять я, подвигая к Мыши плоску и пучки трав. — Ромашка, мята, липовый цвет. Все это должно быть сухим. Проверь еще раз.

Мышь взяла цветок ромашки, растерла между пальцами. Он рассыпался с тихим хрустом, оставив на коже желтоватую пыль.

— Сухой, — подтвердила она.

— Хорошо. Теперь ломай это все и толки. Как можно мельче. Нам нужен порошок. Не крошка, не крупные ошметки, а максимально мелкий порошок. Чем мельче он будет, тем ровнее ляжет в тесто, тем лучше будет горошина.

Мышь кивнула и принялась за работу. Тонкие, цепкие пальцы, привычные к мелкой, кропотливой работе, разламывали сухие стебли и соцветия, а потом каменной ступкой растирали их в плоске. Круговыми движениями, старательно и терпеливо. Запах почувствовался сразу — теплый, солнечный, чуть сладковатый. Ромашка и мята. Запах, от которого хотелось закрыть глаза и дышать.

— Это... приятно пахнет, — сказал Тим с легким удивлением, будто не ожидал от «лекарства» ничего, кроме горечи.

— Так и нужно. Дети не станут так просто класть в рот то, от чего воротит. Вкус и запах — половина дела.

Пока Мышь толкла, я занялся тяжелой и ответственной частью. Взял корень валерианы, небольшой, длиной в палец. Для детской порции много не нужно. Положил его на верстак, обернул в чистую тряпицу и несколько раз ударил небольшим камнем, а затем растер, разбивая жесткие волокна. После этого развернул и тщательно осмотрел. Да, этого вполне достаточно.

— Костыль, кружку, — я, не глядя, протянул руку.

Он подал мне глиняную кружку. Я ссыпал в нее измельченный корень, залил водой — примерно с полстакана — и поставил на самый край печки, туда, где жар был ровный и не слишком сильный.

— Вот это, — я постучал пальцем по кружке, — будет готовиться. Долго. Отвар должен увариться до двух-трех ложек — густых и темных. Именно там и сосредоточится вся сила. Корень отдает воде всю свою суть, а мы эту суть запираем в горошину.

— А если передержать? — спросил Костыль.

— Тогда все сгорит. Станет горькой черной дрянью, которая ничего, кроме тошноты, не даст. Поэтому делаем на малом огне. Никакого пламени. И кто-то обязательно должен следить за процессом.

— Я послежу, — кивнул Тим и пересел ближе к печке. Он устроился по-турецки, подобрал под себя длинные ноги, и уставился на кружку с сосредоточенностью часового.

Я позволил себе легкую улыбку. Хорошо. Каждый при деле.

Пока валериана тихо побулькивала на печке, а Мышь растирала травы в порошок, я перешел к подготовке взрослой партии. Здесь все было серьезнее.

— Теперь второй вид. Тут компоненты злее, — по привычке начал я комментировать свои действия.

Я разложил на тряпице корни валерианы — в три раза больше, чем для детских. Рядом — пустырник: жесткие серо-зеленые стебли с мелкими листьями. И шишки хмеля: легкие, бумажно-сухие, шуршащие при каждом прикосновении.

— Все это пойдет в еще один отвар. Залью водой и буду уваривать, пока не останется вот столько, — я показал пальцами. — Третью кружки. Густое, темное, с сильным запахом.

— Да и так воняет, — простодушно заявил Тим, покосившись на пустырник.

— Будет вонять сильнее, — пообещал я. — Пустырник с хмелем при варке дадут такой дух, что кошки с забора попадают. Но именно этот дух — залог того, что взрослый мужик после двух горошин проспится ночь, как младенец.

Я взял второй горшок — побольше, с широким горлом — и повернулся к нашему главному техническому приобретению последних недель.

Самовар.

Он стоял в углу, под навесом — медный, пузатый, побитый жизнью, с вмятиной на боку. Пятилитровый трудяга, которого Кирпич приволок через полгорода, замотав в дерюгу и перекинув через здоровое плечо, как мешок с картошкой. Где он его раздобыл — я не спрашивал. Кирпич лишь буркнул, что «с трактира у Калашниковой пристани, за долг», и этого мне было достаточно.

Внутри, на стенках самовара скопился толстый слой накипи, который нам потом пришлось долго отскабливать и вымывать, ручки позеленели, наверху недоставало заглушки. Но, несмотря на это, он был целый, рабочий. С жаровой трубой, с помощью которой угли давали ровный, управляемый нагрев.

Я приоткрыл крышку и заглянул внутрь. Тим, по моему указанию, заранее наполнил самовар водой из колодца и разжег угли в трубе. Вода была горячей — не кипятком, но близко к тому.

— Тим, подкинь угля. Мне нужен кипяток через четверть часа.

Тим, оторвавшись ненадолго от кружки с валерианой, нашарил рукой горсть древесного угля из мешочка и аккуратно ссыпал в жаровую трубу самовара. Тут же внутри зашипело, и из топки потянуло жаром.

— Готово, — по привычке ответил он.

Пока вода в самоваре закипала, я вернулся к Мыши. Она закончила с порошком — плошка была полна мелкой, желтовато-зеленой пыли, пахнувшей летним лугом.

— Отлично, — я растер щепотку между пальцами, оценивая помол. Мелко. Не идеально, но для наших целей сойдет. — Очень хорошо, Мышь. Теперь отложи эту порцию и приготовь еще отдельно мяты. Нам понадобится мятный порошок для обвалки. Горошины будут липнуть, если их не обвалить. Мятная пыль хорошо решит эту проблему.

— И пахнуть приятно будут, — добавила Мышь.

— Точно, — улыбнулся я. — Вот видишь, ты уже думаешь, как торговец.

Она смущенно фыркнула, но уголки губ дрогнули. Почти улыбка. Для стеснительной Мыши это был настоящий подвиг.

Я зачерпнул кружкой кипяток из самовара — осторожно, поддерживая тряпицей, чтобы не обжечься. Залил пустырник, хмель и нарезанный корень валерианы, а потом поставил горшок на кирпичи, прямо к углям.

— Костыль, еще раз напомню на будущее, чтобы больше не повторяться, — произнес я, не оборачиваясь. — Концентрированные отвары готовим всегда на малом огне. Большой убивает силу трав. Они не терпят насилия. Только уважение.

— Совсем, как люди, — усмехнулся Костыль.

Я на мгновение замер. Потом повернулся и посмотрел на него. Костыль сидел у входа, привалившись к стойке, с тем же непроницаемым выражением, которое он всегда носил, словно маску. Но на этот раз в его глазах мелькнуло что-то. Будто бы тень глубокой, но старательно скрываемой мысли. Признаться, Костылю в очередной раз получилось меня удивить. Этот парень был не так прост, как могло показаться с первого взгляда.

— Да, — задумчиво кивнул я. — Именно как люди.

Мы замолчали. Какое-то время единственными звуками были тихое бульканье отвара, шорох мяты под пальцами Мыши и далекий, приглушенный лай дворовой собаки.

## Глава 3

Я вернулся к работе и проверил кружку с детской валерианой. Отвар уварился почти наполовину. Жидкость потемнела, стала мутно-коричневой, с тяжелым, глубоким запахом: сырая земля, мокрые корни, что-то звериное и древнее. Я помешал, понюхал, оценил густоту. Еще немного.

— Тим, чуть отодвинь от жара. Пусть томится, не кипит.

Тим послушно сдвинул кружку на полпальца. Я поймал себя на мысли, что из него получился бы неплохой лаборант. Хотя, в другой жизни, когда выберемся отсюда, может быть, и получится.

Прошло еще с полчаса. Самовар ровно гудел, как сытый кот. Взрослый отвар в горшке, бурливший поначалу с жадным шипением, осел, загустел, начал отдавать резким, аптечным духом — хмель с пустырником дали именно ту ноту, которую я и ожидал. Тим морщился, но молчал. Мышь, сидевшая с наветренной стороны, прикрыла нос рукавом.

— Терпите, — сказал я. — Запах — это добрый знак. Значит, эфирные масла выходят из сырья в воду. Если не пахнет — значит, сырье мертвое, и толку от него не будет.

Когда оба отвара уварились до нужной густоты, я процедил их через тряпицу. Мякину — выжатые, бесцветные остатки трав и корней — выбросил. В кружке остался только густой, темно-янтарный детский настой. В горшке со взрослым отваром сейчас было чуть больше, при этом жидкость выглядела значительно темнее, почти черной, с маслянистым блеском на поверхности.

— Теперь самое интересное, — сказал я и подвинул к себе плоску с порошком мягких трав. — Замес.

Я высыпал ромашково-мятно-липовый порошок на чистую плоску. Добавил горсть ржаной муки. Она легла поверх травяной пыли серым, будничным слоем. Всю эту сухую смесь я осторожно перемешал пальцами.

— Мышь, давай мед.

Она подала мне горшочек. Я зачерпнул немного ложкой и добавил в смесь. Мед лег на порошок тягучей золотой нитью.

— Мед — это связь, — объяснил я, осторожно разминая массу. — Он держит порошок вместе, придает вкус и не дает горошине рассыпаться. Но его нельзя добавлять слишком много, иначе пилюля расползется при сушке.

После этого я влил в полученную массу теплый, не горячий, а именно теплый, уваренный отвар валерианы. Все что было в кружке. И начал мешать, моментами добавляя еще муки.

Масса менялась прямо на глазах. Из рассыпчатой, сухой смеси она превращалась в плотное, упругое тесто — как ржаное, но легче: волокнистое, с зеленоватым оттенком и теплым, живым запахом. Ромашка, мята, мед, и где-то глубоко, на самом дне — земляная, спокойная нота валерианы.

— Не слишком густо? — спросила Мышь, глядя, как я разминаю комок.

— В самый раз. Смотри: если прижать пальцем — держит форму, не расползается. Если скатать — не крошится. Вот так.

Я оторвал кусочек размером с ноготь мизинца, обмакнул пальцы в кружку с водой и скатал шарик между мокрыми подушечками. Он получился ровный, чуть приплюснутый, размером с крупную горошину — как раз то, что нужно. Я положил ее на чистый глиняный черепок, который Тим заранее выложил у печки.

— Вот, — удовлетворенно произнес я. — Первая.

Мышь наклонилась, разглядывая крохотный шарик с таким вниманием, словно это был драгоценный камень.

— Маленькая, — улыбнулась она.

— В самый раз. Одна такая пилюля — и ребенок спокойно спит. Не нужен кулак, не нужна розга, не нужно криков и угроз. Одна горошина, и приходит крепкий, здоровый сон. Я отщипнул следующий кусок, обмакнул пальцы и скатал вторую, потом третью.

— Мышь, теперь ты. Бери понемногу, мочи пальцы в кружке, чтобы к рукам не липло.

Она осторожно взяла комочек теста, помяла, попробовала скатать. Первая горошина вышла кривой, бесформенной — больше похожей на раздавленную ягоду, чем на пилюлю.

— Не дави, — поправил я ее. — Легонько перекатывай. Ладонь расслаблена, двигаешь только пальцами. Не ты давишь на тесто. Тесто само находит форму. Ты только позволяешь.

Мышь попробовала снова. Вторая вышла лучше — почти круглая, с легким швом посередине.

— Сойдет, — одобрил я. — Скоро будешь катать лучше меня.

— А мне можно? — Тим подался вперед, не вставая с места. Руки у него были крупные, лопатообразные, с мозолями от колки дров. Не самые подходящие для тонкой работы. Но в глазах стояло такое щенячье желание быть полезным, что отказать было невозможно.

— Попробуй, — сказал я. — Но сначала — вымой руки. Разбавь кипяток из самовара. Но так, чтобы на грани терпимости. Грязные руки — грязные пилюли, а грязные пилюли — это зараза, а не лекарство.

Тим послушно плеснул кипятку в свободную кружку, немного разбавил, потом полил на руки и зашипел.

— Ух! Горячо.

— Терпи. Чистота стоит слегка обожженных пальцев.

Он кивнул, вымыл руки и взялся за дело. Первые две горошины вышли громадными — с лесной орех каждая.

— Тим, — я покачал головой. — Это пилюля, а не пельмень. Ребенок это в рот не засунет, да и дозировка конская получится. Бери меньше, как у Мыши.

Он крикнул, смял получившиеся горошины обратно в комок и начал заново, уменьшив порцию. Четвертая горошина — уже приемлемая. Пятая — вполне годная.

Костыль, наблюдавший от входа, молча подошел и, не спрашивая, вымыл руки и сел рядом. Его пальцы — тонкие, чувствительные, привычные к мелкой моторике, оказались идеальными для лепки. Уже вторая его горошина вышла ровнее моей.

Какое-то время мы работали молча. Четыре пары рук, плоска с тестом, кружка с водой. Намочить пальцы, отщипнуть, скатать, положить на черепок. Отщипнуть, скатать, положить. Ритм установился сам собой — спокойный, почти медитативный. Солнце ползло по стене, самовар тихо гудел, и Сердце наполнялось запахом ромашки и мяты.

Я насчитал двадцать шесть штук, когда детское тесто закончилось.

— Мышь, порошок мяты.

Она подвинула плоску с мелко истолченной мятой. Я взял черепок с горошинами и осторожно, по одной, обвалял каждую в зеленой пыли. Мятный порошок лег тонким слоем, впитав остатки влаги. Горошины перестали липнуть друг к другу и к пальцам, обрели сухую, чуть шершавую поверхность.

— Вот, — я поднял одну на ладони. — Готова к сушке.

Первая пилюля. Светлая, желтовато-зеленая, с легким мятным напылением. Размером с горошину, почти невесомая. Пахла летом, ромашкой и медом. Ни один ребенок не откажется положить такую на язык.

— Красиво, — тихо вздохнула Мышь.

Я расставил черепки с детскими горошинами у печки. Не вплотную к жару, а на расстоянии ладони, где воздух был теплым и сухим. Здесь они будут подсыхать до утра, медленно отдавая влагу, твердея, но не пересыхая. К завтрашнему дню дойдут до готовности.

— А теперь — взрослые. — Я взялся за горшок с темным, резко пахнущим отваром.

Настроение в Сердце сразу переменялось. Не потому, что кто-то сказал лишнее слово. А потому, что запах, тянувшийся от горшка, был другим. Не луговым и сладким, а глубоким, тягучим, с горькой, почти звериной нотой. Хмель и пустырник пахли так, словно кто-то вскрыл старую аптечную банку, простоявшую в подвале лет двадцать.

— Это хуже, чем сапоги Семена, — поморщился Тим.

— Сапоги Семена не помогут тебе заснуть, разве что умереть, — возразил я. — А это поможет. Мышь, подай душицу и мяту. Сушеные. Те, что справа.

Мышь протянула мне пучок трав. Я положил их в чистую плошку и принялся толочь, но не так тщательно, как для детских. Взрослый порошок не обязан быть нежным. В первую очередь он должен работать.

— Для взрослых, — начал комментировать я, не прекращая работы, — основа другая. Мята и душица идут в порошок. Валериана, пустырник и хмель — в отвар. Меда чуть больше, потому что горечь тут сильнее и нужно ее перебить. Иначе человек выплюнет, не проглотив, и ни копейки мы с него не получим.

— А мука? — спросил Костыль.

— Мука та же, ржаная. Но можно и толченый овес, если будет. Овес мягче, горошина получается чуть рыхлее, но зато быстрее размокает во рту. Для тех, у кого зубов не хватает, самое то.

Я смешал порошок мяты и душицы с мукой, влил взрослый отвар — густой, маслянистый, стекавший с ложки тяжелой каплей — и добавил меда. Чуть больше, чем в детский замес. И еще, напоследок, щепотку толченого угля.

— Вот это, — я показал черные крупинки на пальце, — наша метка. Уголь не влияет на действие, но окрашивает тесто. Видите?

Масса, которую я разминал, была заметно темнее детской — зеленовато-коричневая, с мелкими черными вкраплениями, словно кто-то рассыпал по ней маковые зерна.

— Даже в темноте, наощупь другая, — продолжил я. — Крупнее, плотнее, грубее. И запах. На вот, понюхай.

Я протянул кусочек теста Мыши. Она осторожно вдохнула и тут же отвернулась.

— Горько. И резко. Как в лазарете.

— Именно. Детскую с такой точно не перепутаешь. Это — железный признак. Если когда-нибудь хоть у кого-то из вас возникнет сомнение, какая горошина перед ним, просто понюхайте. Нос не обманет. Ромашка — детская. Аптека — взрослая. Ясно?

Мои слушатели почти синхронно кивнули.

— Тогда катаем. Чуть крупнее, чем детские. И руки мочите чаще. Это тесто липнет сильнее.

Мы приступили к процессу изготовления.

Взрослые горошины давались труднее. Тесто было вязким, тугим, норовило прилипнуть к пальцам и расплющиться вместо того, чтобы скататься в шарик. Тим сопел, как кузнечный мех. Костыль хмурился, но справлялся. У него получалось лучше всех. Его тонкие пальцы двигались точно и экономно, без лишних движений.

— Костыль, — похвалил я, наблюдая за его работой, — у тебя руки ювелира.

— У меня руки вора, — ехидно усмехнувшись, ответил он.

— Одно другому не мешает, — пожал я плечами.

Мышь хмыкнула. Это был смешок, старательно замаскированный под кашель. Я сделал вид, что не заметил, как ее губы дрогнули в легкой улыбке.

Когда тесто закончилось, на черепках лежало восемнадцать взрослых горошин. Они были темнее, крупнее и тяжелее детских, с характерными черными крапинами от угля.

— Обвалка — та же, — сказал я. — Мятный порошок. Мышь?

Она уже протягивала плоску. Я обвалял горошины, разложил на отдельные черепки, пометив их косыми крестами, и поставил рядом с детскими у печки.

— Сушим до утра. Не трогаем, не двигаем, не нюхаем. Пусть дышат, взаимодействуют, пропитываются.

Я отошел на шаг и внимательно осмотрел результат. Несколько больших глиняных черепков. Двадцать шесть светлых горошин и восемнадцать темных. Сорок четыре крохотных шарика из трав, меда и муки, пахнущие ромашкой и аптекой.

Сорок четыре ночи спокойного сна.

Если посчитать по полкопейки за штуку, это двадцать две копейки. Не бог весть что. Но мыло в первые дни вообще ничего не приносило, а теперь давало устойчивый рубль в неделю. Пилюли пойдут тем же путем: сначала испытание на своих, потом бартер внутри приюта, а затем Кирпич вынесет пробную партию в порт, и...

— Лис, — голос Мыши выдернул меня из раздумий.

— Да?

— А мы сами попробуем?

Она спросила это просто, без вызова. Но в ее серых глазах проглядывало то, что я видел там с первого дня: пока что еще не полное доверие, но уже робкая готовность довериться. Она ждала, что я скажу «да» и для начала покажу пример на себе. Время, когда я испытывал свои снадобья на Мыши, прошло. Я глубоко осознал, что это неправильный путь. Путь, которым временами шел Константин Радомирский, но от которого решил отказаться приютский мальчишка по кличке Лис.

— Завтра, — решительно ответил я. — Когда просохнут. Первую возьму я. Если к утру не сдохну и не позеленею, тогда дам вам.

Теперь так будет всегда. Без каких-либо исключений. Лекарь, который сам не попробовал свое снадобье, — шарлатан или трус. Я не хотел прослыть ни тем, ни другим.

Мышь кивнула. Коротко и серьезно.

Тим вытер руки о штанины и с сожалением посмотрел на самовар.

— Вода еще горячая. Жалко, что пропадет. Завтра снова разогревать, дрова с углем тратить.

— Не пропадет, — улыбнулся я. — Ополосни горшки и плоски кипятком. Все должно быть чистым и готовым для следующей партии.

Тим кивнул и послушно занялся уборкой. Костыль, без лишних слов, принялся укладывать неиспользованные травы обратно в свертки. Мышь собрала рассыпанную по верстаку мятную пыль и ссыпала в отдельный мешочек. Мне все больше нравилась эта девчонка, экономившая все до последней крупинки.

Я наблюдал за ними и думал о том, что полмесяца назад этих троих связывало только общее несчастье: голод, побои и страх. Они были не сплоченной командой, а всего лишь тремя отдельными существами, каждое из которых пыталось выживать в одиночку. Сейчас они двигались как единый сплоченный механизм. Но не потому, что я их заставил, а потому что они наконец-то поняли: вместе теплее, сытнее и безопаснее.

Константин Радомирский когда-то руководил сотней инженеров и алхимиков в лабораториях, занимавших целое крыло Императорского производственного корпуса. Сейчас у него было три подростка, самовар и горстка травяных горошин. И странное, незнакомое чувство, которое он не сразу распознал.

Гордость. Заслуженная гордость за троих сирот, которые наконец-то поверили в себя и начали свой путь наверх.

— Все, — удовлетворенно произнес я. — Хранить пилюли будем отдельно, по видам. Детские — в светлой тряпице, взрослые — в темной. Путать нельзя. Брать без моего ведома

нельзя. Раздавать кому-то вне нашего круга тоже пока нельзя. Сначала испытываем на себе. Потом будем двигаться дальше.

— Хорошо, — в голос произнесли Тим с Мышью.

Костыль же просто кивнул.

— Тогда расходимся. На сегодня все.

## Глава 4

Взрослую пилюлю я испытал на себе тем же вечером.

После отбоя, когда общая спальня затихла, насколько вообще может затихнуть комната, в которой на соломенных тюфяках лежат сорок с лишним детей, я достал из-под рубахи темную горошину. Она успела немного подсохнуть за несколько часов, стала слегка плотнее, но при этом была все еще мягкой на ощупь и чуть шершавой от мятной обвалки. Угольные капли проступали на зеленовато-коричневой поверхности, как веснушки. Запах у пилюли был тяжелый, аптечный, с характерной хмелевой горчинкой. Он ударил в нос, стоило только поднести горошину к лицу.

Недолго думая, я положил ее на язык.

Первое, что я почувствовал, — это горечь. Резкая, глубокая, растекающаяся от корня языка к небу. Мед смягчал, но не убивал, а скорее обрамлял ее, как золотая оправка обрамляет темный камень. Потом пришла мята: холодная, свежая волна, постепенно перекрывающая горечь. Я разжевал горошину — она поддалась довольно легко — и запил глотком воды.

Вкус был вполне терпимый. Портовый грузчик проглотит не поморщившись. И это было хорошо.

Потом я лег, закрыл глаза и стал ждать.

Первые десять минут ничего не происходило. Я считал удары сердца, отслеживал дыхание, прислушивался к телу. Константин Радомирский проводил сотни подобных опытов с куда более опасными веществами. Он знал, что малейшая нетерпеливость — злейший враг экспериментатора.

На пятнадцатой минуте я отметил первый характерный признак. Не сонливость, а, скорее, смену внутреннего ритма. Мысли, которые обычно металась в голове, как воробьи в клетке, начали замедляться. Не исчезать, нет. Просто слегка притормаживать. Как если бы кто-то мягко положил ладонь на маятник часов, не останавливая полностью, но мягко гася амплитуду.

К двадцатой минуте у меня потяжелели веки. Это произошло вполне естественно. Так, словно глаза сами решили, что смотреть больше не на что, и закрылись. Мышцы шеи расслабились. Я перестал сжимать челюсти. Плечи опустились. В груди, где обычно сидел тугий, привычный узел напряжения — тот самый, который не отпускал ни днем, ни ночью, с самого момента пробуждения в этом чужом, избитом теле, — стало тепло, словно от печки в хорошо протопленной комнате.

К тридцатой минуте я понял, что засыпаю. По-настоящему, глубоко, без обычного балансирования на грани, когда тело вроде бы проваливается в сон, а разум продолжает цепляться за бодрствование, как утопающий за край лодки. Сейчас этого не было. Был лишь плавный, мягкий спуск — как если бы кто-то нес меня по длинной, пологой лестнице вниз, в уютное и тихое место, где не было ни Семена, ни настоятеля, ни чистильщиков, ни канавы с мертвым телом.

Последнее, что я запомнил перед тем, как сознание окончательно погасло: рядом, на соседнем тюфяке, всхлипнул во сне кто-то из малых — тонко, жалобно, как котенок. Я это отчетливо услышал и последними крупными сознанием отметил, что не вырубился намертво. Значит, если что-то случится, то я среагирую и проснусь.

И это было хорошо. Именно так, как и задумано.

Проснулся я от удара доски о доску — дьячок колотил какой-то палкой по притолоке, поднимая спальню на утреннюю молитву. Похоже, Семена все-таки постепенно отводили от дел. Или же просто заменили на один день.

Я открыл глаза и несколько секунд лежал неподвижно, внимательно сканируя себя.

Голова была на удивление ясная. Никакой мути и тяжести. Никакого тумана и мерзкого ощущения, что тебя только что вытащили за ноги из колодца. Впервые за долгое время я почувствовал себя отдохнувшим. И с удовольствием попробовал это слово на вкус, потому что еще ни разу в этом новом теле не мог по-настоящему применить его к себе. Отдохнувшим. Да. Именно так.

Тело было расслабленным, но послушным. Я сжал и разжал кулак. Пошевелил пальцами ног. Все работало. Никакой заторможенности, никакой вялости. Поднявшись с нар, я с удовольствием потянулся. Спина, привычно ноющая от соломенного тюфяка, сегодня молчала.

Спал я, по моим подсчетам, часов шесть. Без перерывов, без пробуждений, без кошмаров. Впервые с тех пор, как душа Константина Радомирского рухнула в это тело, я проспал всю ночь целиком. Как нормальный, здоровый человек.

Работает. И еще как работает!

Я позволил себе три секунды тихого, немого торжества. Потом затолкал его подальше, натянул привычную маску забитого сироты и поплелся на молитву. Выделяться среди сонной, вялой толпы и привлекать к себе ненужное внимание я пока не хотел.

Завтрак — баланда с хлебом — проходил как обычно. Длинные столы, стук деревянных ложек, бубнеж дьячка, угрюмое молчание детей, которым в очередной раз не хватило ночи, чтобы отдохнуть. Я сидел на своем обычном месте, в конце стола, рядом с Тимом. Мышь — напротив, маленькая и тихая, как всегда. Ела она аккуратно, не поднимая глаз. Но я заметил, как она коротко и быстро взглянула на меня, когда я сел. Это был оценивающий взгляд. Мышь проверяла — жив ли я, цел ли, не позеленел ли.

Я едва заметно кивнул. Она тут же облегченно опустила взгляд обратно в миску, смекнув, что все в порядке.

Костыль подсел ко нам через пару минут. Я уже привык к его конспираторским играм. Сначала он взял свою миску, постоял в очереди, получил порцию, сел на дальний конец скамьи, немного поел. И только потом встал, подхватил недоеденную баланду и, словно бы невзначай, оказался рядом.

Где-то с полминуты он молча орудовал ложкой. Потом, не поворачивая головы, тихо произнес:

— Нога.

Я бросил на него внимательный взгляд, мол, продолжай.

— Третью ночь, — скривился Костыль. — Ломит так, что хоть зубами в тюфяк. От колена и вниз. Где-то глубоко, в костях.

Я лишь вскользь слышал о его ноге. Старая травма — то ли перелом, то ли трещина, сросшаяся чрезвычайно криво. Обычно нога его не беспокоила сверх привычной хромоты, скованности и тянущей боли от долгой ходьбы. Но иногда — особенно когда менялась погода или когда Костыль слишком перенапрягался — кость начинала ныть. Тупо, упорно, безостановочно. Это была не та боль, от которой кричат, но та, от которой не спят ночами.

— Три ночи — это много, — сказал я, не глядя на него. — Почему не сказал раньше?

— Думал, пройдет.

Разумеется. Они все так думают. Терпение сквозь стиснутые зубы — единственный навык, который приют прививает максимально надежно.

— В общем, я ночью попробовал. Смекаешь, про что я? — Костыль быстро кивнул. — Работает, — подытожил я. Коротко, без подробностей. — Остальное позже.

Костыль даже жевать перестал. На мгновение, всего лишь на короткий миг, в его глазах мелькнуло что-то, похожее на надежду. Он тут же спрятал это чувство за привычным каменным безразличием.

— Дашь? — тихо прошептал он.

— Ага. Но не сейчас. После завтрака. В Сердце.

Он коротко кивнул и, ни слова больше не сказав, вернулся к еде.

Через полчаса мы вчетвером были в Сердце.

Утро выдалось серым и пасмурным. Небо затянуло рваными облаками, из-за которых изредка и неохотно проглядывало солнце. Но под нашим навесом из парусины и еловых лап было вполне себе комфортно и тепло. Печка из кирпичей еще хранила вчерашний жар. Самовар тускло отсвечивал медным боком в углу у амбара.

Я подошел к черепкам с горошинами и присел на корточки.

Пилюли подсохли довольно хорошо. Даже лучше, чем я рассчитывал — ночной жар от углей и сухой воздух под навесом сделали свое дело. Я взял одну детскую горошину и покатал между пальцами. Твердая, плотная, не крошится. Мятная обвалка высохла и превратилась в тонкий, зеленоватый налет, приятный на ощупь. Я надломил горошину ногтем — внутри она была однородной, без пустот и трещин, с ровным, желтоватым срезом. Запах — ромашковый, теплый, с легким медовым оттенком.

Взял взрослую. Тяжелее, крупнее. Темная поверхность с черными крапинами угля. Тоже твердая и плотная. Надломил — срез был зеленовато-коричневым, маслянистым на вид. Запах — резкий, глубокий, откровенно аптечный.

Я удовлетворенно хмыкнул.

— Готовы, — объявил я, поднимаясь. — Обе партии. Сушка завершена.

Мышь, Тим и Костыль стояли полукругом, ожидая продолжения.

— Ночью я испытал на себе одну взрослую пилюлю. Результат вполне себе: уснул я через полчаса и проспал до утра. Проснулся с ясной головой и легким телом. Никаких дурных ощущений. Работает в точности так, как я и рассчитывал.

Тим шумно выдохнул. Мышь, не отрываясь, смотрела на черепки с горошинами, и в ее серых глазах стояло выражение, которое я уже начинал узнавать: тихое, сосредоточенное восхищение.

— Теперь вы, — уверенно продолжил я. — Каждому пока по одной детской горошине. Примите вечером, перед сном. Не раньше. Не днем. Не после обеда. Только когда ляжете и будете готовы спать. Положить на язык, разжевать, запить водой. Через полчаса потянет в сон. Не сопротивляйтесь, просто закройте глаза и расслабьтесь.

Я снял с черепка две детские горошины и вручил Мыши с Тимом. Они с любопытством стали их разглядывать.

— Маленькая, — скептически произнес Тим. — От этого точно уснешь?

— Точно, — ответил я. — Уснешь. Мягко, без нервов. Сон будет легкий, но крепкий. Если что-то случится — проснешься. Это не отравка и не колдовство. Обычные травы, которые говорят телу: «Хватит. Ложись. Отдыхай».

Мышь спрятала горошину в карман — бережно, как монету. Тим сунул свою за щеку, но я остановил его щелчком по лбу.

— Я сказал — перед сном. Не сейчас. Или ты хочешь уснуть на работе и получить от Семена палкой по ребрам?

Тим виновато вынул горошину и спрятал в кулак.

— Костыль, — я повернулся к нему. — Тебе — две штуки.

Я снял с черепка две детские горошины и положил ему на ладонь. Он взглянул на них — маленькие, светлые, невесомые, замершие на его жилистой, мозолистой ладони.

— Две? — удивленно произнес он. — Остальным же по одной.

— У остальных не ломит ногу третью ночь подряд. Прими одну перед сном. Если через полчаса не отпустит, съешь вторую. Но не обе сразу. Понял?

Костыль благодарно кивнул и убрал горошины в нагрудный карман, застегнув его на единственную уцелевшую пуговицу.

Я собрал оставшиеся пилюли с черепков — аккуратно, по одной, не смешивая. Детские завернул в светлый лоскут и перевязал ниткой. Взрослые — в темный. Получились два небольших свертка. Каждый — легче пригоршни сухого гороха, но при этом дороже любого мешка с мылом.

Я наклонился к стене амбара, нащупал в основании знакомую щель между третьим и четвертым кирпичом снизу — ту самую, где уже лежал мешочек с медяками, — и задвинул оба свертка вглубь. Сухо, темно, прохладно. Ни дождь, ни крыса не доберется.

— Все, — выдохнул я, выпрямляясь. — Теперь — на утренние работы. Как обычно, по одному. Тим — первый. Мышь — через две минуты. Костыль — последний.

После того, как они ушли, я задержался на минуту. Проверил печку, подкинул несколько свежих угольков, чтобы не погасла до обеда. Потом накрыл самовар рогожей, окинул Сердце на прощанье привычным хозяйским взглядом и направился к выходу.

В канцелярии было, как всегда, пыльно и сонно. Писарь Иван — тощий, сутулый парень с чернильным пятном на манжете, которое он носил, как орден, — дремал за конторкой, привалившись щекой к стопке неразобранных бумаг. На моем столе — маленьком, в углу у окна, отведенном мне по милости настоятеля — лежала пачка писем для переписки начисто. Жалобы, отчеты, прошения. Бюрократическая рутинa, которая в прошлой жизни вызвала бы у меня зубовой скрежет, а теперь служила прикрытием и источником бесценной информации.

Я сел, обмакнул перо и принялся за работу.

Почерк у прежнего Лиса был скверный — корявый, прыгающий, с ошибками через слово. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы выровнять его до приемлемого, не вызвав при этом подозрений. Теперь я писал аккуратно, но не слишком — ровно настолько, чтобы настоятель считал меня старательным, а писарь — заурядным. Золотая середина посредственности. Константин Радомирский, чьи монографии печатались в типографии Академии наук, выводил сейчас каждую букву с тщательностью школяра.

За окном канцелярии был виден кусок приютского двора — утоптанная земля, колодец с покосившимся журавлем, забор. Обычный, скучный вид, который я знал наизусть.

Именно поэтому я сразу заметил карету.

Карету, которая кардинально изменила все в моей новой приютской жизни.

## Глава 5

Карета появилась во дворе Никодимовского приюта около десяти — закрытый экипаж на рессорах, не новый, но добротный, с темным лакированным кузовом и гербом на дверце. Не купеческая пролетка и не извозчичья коляска. Дворянский выезд. Скромный, без позолоты, но настоящий.

Запряжена она была не модными ныне големами, а по-старинке, обычными лошадьми — пара гнедых, ухоженных, с подстриженными гривами — остановились у ворот приюта. С козел спрыгнул кучер: коренастый мужчина лет пятидесяти, с густыми бакенбардами, в аккуратной и ухоженной ливрее. Он двигался с той неторопливой основательностью, которая свойственна людям, привыкшим к тяжелой работе и не видящим смысла суетиться.

Я машинально привстал и пол подо мной предательски скрипнул.

Писарь всхрапнул и перевернул голову на другое ухо, но я даже глазом не повел в его сторону. Все мое внимание было сосредоточено на окне.

Дверца кареты распахнулась, и из нее вышла женщина.

Темное шерстяное платье, строгое, без украшений, но сшитое так, как шьют только у хороших портных — по фигуре, с безупречной посадкой плеча. Мантилья — тоже темная, с простой застежкой. Лайковые перчатки. Ни серег, ни брошей. Все дорогое, но при этом неброское. Это была одежда женщины, которая давно перестала красоваться на публику и предпочитала одеваться только для себя.

Ее сопровождал мужчина в чиновничьем сюртуке и с портфелем под мышкой. Судя по внешнему виду, секретарь. Невысокого роста, с бегающими глазами. Он был явно из тех, кого природа создала исключительно для работы с цифрами, заполнения граф и сведения баланса.

Я пристально следил за женщиной. Она поднималась по ступеням крыльца, и настоятель уже выскочил навстречу — суетливый, с поклоном, с распахнутыми руками. Плановая инспекция, догадался я. Благотворительница. Та самая, чьи деньги текут в приют и чье имя настоятель произносит с таким благоговением, словно речь идет о святой.

Женщина обернулась, чтобы сказать что-то кучеру, и я увидел ее лицо.

В этот миг мир остановился.

Не замедлился, а именно остановился. Словно механизм, в шестерни которого неожиданно попал камень. Перо в моих пальцах дрогнуло над бумагой, и капля чернил упала на недописанное слово, расплывшись черной кляксой.

Анна Дмитриевна.

Она постарела. Но не так, как стареют от беспощадного течения времени. Ей было чуть за сорок, и судьба отнеслась к ней заметно благосклоннее и бережнее, чем ко многим ее сверстницам. Она постарела иначе. Изнутри. Лицо, которое я помнил живым, подвижным, с легкой лукавой улыбкой и теплыми карими глазами, стало каким-то неподвижным. Не холодным, а, скорее, усталым. Как лицо человека, который давно перестал ждать чего-то хорошего от жизни и научился находить смысл в одном лишь святом исполнении некоего высшего долга.

Тонкая паутинка морщин возле глаз, горькая и такая привычная складка у рта. И взгляд. Взгляд тех самых карих глаз, в которых когда-то плясали искры, когда она подхватывала мою шутку за чайным столом и отвечала так, что весь салон покатывался со смеху, — эти глаза были спокойны и... пусты. Бесконечно потухший взор. Словно лампа, из которой выкрутили фитиль.

Пять лет без Владимира.

Мой друг. Мой однокашник. Единственный граф, у которого в голове были не опилки, а чертежи. Он погиб при Аустерлице — глупо, нелепо, как гибнут лучшие: не от вражеской пули, а от шальной картечи, прилетевшей не туда, куда целили. Я узнал об этом из газеты. Сидел

в своей лаборатории на Литейном, читал сухие строчки казенного некролога и чувствовал, как мир становится чуть темнее и враждебнее. С Владимиром я потерял не просто друга. Я потерял человека, который верил в мои идеи не потому, что они были гениальными, а потому, что они были правильными.

А теперь его вдова стояла в десяти саженьях от меня — по ту сторону пыльного стекла — и не знала, что человек, которого она когда-то называла «нашим гениальным Константином Андреевичем», сидит за конторкой в этом проклятом приюте, в теле четырнадцатилетнего оборванца, с чернильными пальцами и синяками на ребрах.

Внезапно она посмотрела в мою сторону.

Не на меня, но словно бы сквозь. Скользнула взглядом по фасаду здания, по окнам канцелярии, по темным силуэтам за стеклом, и не задержалась ни на секунду. Для нее я был частью стены. Мебелью. Воздухом.

Это было больнее, чем пощечина Кирпича. Больнее, чем побои Семена. Больнее, чем руна, убившая Константина Радомирского в его собственной лаборатории. Та руна по крайней мере признавала мою значимость. Убивают тех, кого боятся. А этот взгляд, прошедший сквозь, мимо, ни за что не зацепившийся, говорил яснее любых слов: тебя нет. Ты — никто.

Я сидел неподвижно и смотрел, как она скрывается за дверью приюта. Настоятель семенил рядом. Секретарь шел следом, прижимая портфель к груди. Дверь закрылась.

Кучер Афанасий — я наконец-то его узнал — остался во дворе. Отогнав карету от крыльца, он задал корма лошадям. Потом взобрался на козлы, достал из-за пазухи краюху хлеба и принялся жевать, шурясь на солнце.

Афанасий. Денщик Владимира. Тот самый, что вытащил его из-под понесшей лошади на маневрах под Гатчиной. Тогда Владимир смеялся, рассказывая мне эту историю за коньяком: «Представь, Константин, лежу себе спокойно под кобылой, никого не трогаю, а этот медведь хватает ее под уздцы одной рукой, а меня — за шиворот другой, и тащит в разные стороны. Кобыла — налево, я — направо. Треск стоял такой, что сразу и не поймешь, это мой мундир или мои ребра...»

Я опустил глаза на кляксу, расплывшуюся по бумаге. Аккуратно промокнул ее тряпицей, а затем переписал испорченный лист.

Руки не дрожали. Я не позволил им дрожать.

Инспекция длилась около двух часов. Я слышал шаги в коридоре — настоятель водил гостей по приюту: спальни, трапезная, учебная комната, молельня. Голоса доносились глухо, неразборчиво. Один раз мимо канцелярии прошел секретарь, заглянул — я склонился ниже над бумагами, — и ушел дальше.

Писарь проснулся, увидел меня за работой, удовлетворенно хмыкнул и неспеша удалился «до ветру», что на его языке означало — до обеда.

Я переписывал очередное прошение, когда услышал шум во дворе.

Сначала — голоса. Потом — стук копыт по мостовой. И елеинный тенорок настоятеля. Похоже, инспекция подошла к концу, и он сейчас прощался с дорогой гостьей.

Я встал и посмотрел в окно.

То, что я увидел, заставило меня напрячься.

Афанасий, стоявший до этого у подножки кареты, сделал шаг в сторону, потянулся рукой к двери и вдруг замер, словно налетел на невидимую стену. Легкое недоумение скользнуло по его обветренному лицу. Так человек реагирует на первый укол боли, еще не понимая, что за ним последует удар. А потом Афанасия скрутило.

Он не упал. Это было бы проще — проще для него и проще для тех, кто наблюдал. Нет, он осел. Медленно, как подрубленное дерево, которое еще держится на последних волокнах. Одно колено ударилось о землю. Рука вцепилась в ступеньку кареты, и даже от окна я увидел,

как побелели костяшки пальцев. Другая рука легла на поясницу — не прижалась, а судорожно впиалась, словно Афанасий пытался вырвать из себя то, что причиняло боль.

Лицо побагровело. Пот выступил разом — не мелкими бисеринками, а пленкой, блестящей на солнце. Челюсти сжались так, что на скулах вздулись желваки. Он не кричал. Он давил крик внутри себя, и от этого по его широкой спине проходили судорожные волны, одна за другой, как рябь по воде.

Старый солдат. Старая школа. Страдать, стиснув зубы. Умирать — молча.

Секретарь, стоявший у кареты с портфелем, отпрыгнул в сторону, как кот от упавшего горшка. Рот раскрыт, глаза, словно блюдца. Портфель прижат к груди, будто щит. Он озирался — быстро, затравленно, — ища кого-нибудь, на кого можно переложить ответственность за происходящее.

Настоятель замер на крыльце. Он побледнел так, что его лицо стало одного цвета с подрысником. Губы шевелились — беззвучно, бессмысленно. Я прочел по ним: «Господи... Боже мой... что же это...» В его глазах я увидел не сочувствие к страдающему человеку. Я увидел арифметику. Он подсчитывал последствия. Скандал при благотельнице. Инцидент в подведомственном заведении. Строчка в отчете. Пятно на репутации. Конец карьеры.

Он был парализован, но не чужой болью, а собственным страхом.

И Анна Дмитриевна.

Она вышла на крыльцо на полшага позади настоятеля и остановилась. На ее лице я увидел то, что видел всего дважды в прошлой жизни: один раз — когда ей сообщили о ранении мужа на маневрах, второй — когда пришло известие об Аустерлице. Сначала — непонимание. Мозг отказывался принять информацию, которую глаза уже увидели, а уши услышали. Потом — запоздалое понимание. И наконец — тот особый, белый, абсолютный ужас, который приходит, когда осознаешь: это происходит снова. Снова у меня забирают дорогого человека.

— Афанасий Матвеевич... — вырвалось у нее. Не голос, а какой-то всхлип. Сдавленный, хриплый, совершенно несовместимый с ее прямой спиной и аристократической выдержкой.

Она сделала шаг вперед. Рука в перчатке поднялась, потянулась к нему, и замерла в воздухе. Анна Дмитриевна совершенно растерялась, не понимая, что делать, чем помочь. Она, графиня Орлова-Чесменская, попечительница, женщина, привыкшая управлять, распоряжаться и решать, не знала, что делать с корчащимся от боли человеком у своих ног. Ее рука повисла, задрожала и легла на грудь, прямо туда, где под дорогой шерстью билось сердце, уже однажды разбитое на куски.

Она не кричала. Она стояла — прямая, с широко раскрытыми глазами, в которых отражалась агония старого солдата, — и была в этот момент не графиней, не благотворительницей, не попечительницей, а просто женщиной, с ужасом наблюдающей, как последняя живая нить, связывающая ее с мужем, рвется у нее на глазах.

Я стоял у окна и смотрел на все это с хрустальной, безжалостной ясностью. Четырнадцать лет. Грязная рубаха. Чернильные пальцы. Никто. Ничто.

А потом ноги сами понесли меня к двери.

Хотя, нет. Не сами. Я принял решение. За долю секунды, как принимал сотни решений в прошлой жизни, когда эксперимент шел не по плану и реактор начинал фонить. Холодный расчет? Да. Тактическая возможность? Безусловно. Благотворительница, обязанная приюту — а значит, и мне, если я сыграю правильно.

Но было и другое.

Было лицо Анны Дмитриевны — белое, застывшее, с этим невыносимым выражением предстоящей невозвратной потери. И Афанасий — старый медведь, денщик Владимира, — скрюченный на земле, молча умирающий от боли, потому что не умел умирать иначе.

Владимир. Мой друг. «Единственный граф с чертежами, а не с бульоном в голове». Он попросил бы меня помочь. Даже не так. Он посмотрел бы на меня тем своим тяжелым, прямым

взглядом, который не оставлял выбора, и сказал бы: «Ну что ты стоишь, Константин Андреевич? Действуй».

Я выбежал через черный ход.

На кухне, в дверном проеме, я почти столкнулся с Фросей. Она бежала навстречу, придерживая подол, — грузно, тяжело, с перекошенным от ужаса лицом. Увидев меня, она схватила мое плечо — пальцы впились, как клещи.

— Лис! — выдохнула она. — Там... во дворе... кучер барынин... падает... Барыня сама не своя...

— Знаю, — сказал я. — Видел из окна.

— Сделай что-нибудь! Если он помрет тут — барыня... она же... нам всем конец, Лис!

В ее глазах стоял тот же страх, что и у настоятеля. Однако этот страх был честнее. Фрося не думала о карьере. Она думала о котле, о крупе, о дровах, которые перестанут привозить, если благодетельница отвернется от приюта. Она думала о голодных детях. О себе. О своей больной спине, которую теперь некому будет лечить.

Мимо пронеслась Мышь. Она выскочила откуда-то из кухонной утробы, юркнула в дверь и исчезла во дворе. Любопытная. Или предусмотрительная. С Мышью никогда не знаешь наверняка.

Я уже примерно представлял, что за недуг схватил Афанасия. Поэтому сразу начал действовать.

— Фрося, — я снял ее руку со своего плеча. Мягко, но твердо. — Мне нужны два кирпича из печи. Самые горячие. Оберни в толстые полотенца. Принеси во двор. Быстро.

Она моргнула.

— Кирпичи?..

— Из печи. В полотенцах. Сейчас.

Что-то в моем голосе или в моих глазах не допускало возражений. Фрося развернулась и поспешно затопала на кухню. Я слышал, как загремела печная заслонка.

Выйдя из-за угла приюта, я увидел все то, что до этого наблюдал из окна, но теперь вблизи, в деталях, которые расстояние милосердно скрадывало.

Афанасий метался. Не в истерике, но в той тихой, сдерживаемой, и оттого еще более жуткой борьбе с болью, когда тело ищет спасения, а разум знает, что спасения нет. Он пробовал выпрямиться, и его тут же скручивало обратно, как пружину. Пробовал лечь, и снова рвался на колени. Дыхание стало свистящим, прерывистым. На губах выступила белая пена.

Секретарь вжался в стену кареты. Настоятель стоял на крыльце, как соляной столп. Анна Дмитриевна замерла на две ступени ниже него, с протянутой рукой, которая так и не нашла, обо что опереться.

Мышь стояла у колодца — маленькая, незаметная, с широко раскрытыми глазами. Она смотрела не на Афанасия. Она смотрела на меня.

Она ждала, когда я начну действовать. И верила, безоговорочно верила, что у меня все пол

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.